

ТЕКСТЫ КУЛЬТУРЫ

О.А. СКУБАЧ

Алтайский государственный университет

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ СЮЖЕТА О ПАПАНИНЦАХ В СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЕ КОНЦА 1930-х – НАЧАЛА 1940-х гг. (НА МАТЕРИАЛЕ ДНЕВНИКА Э.Т. КРЕНКЕЛЯ «ЧЕТЫРЕ ТОВАРИЩА»)

В статье рассматриваются литературные источники одного из центральных сюжетов советской кампании по освоению Арктики – истории дрейфующей станции «Северный полюс-1». Основным материалом исследования в данной статье послужил дневник радиста экспедиции Э.Т. Кренкеля «Четыре товарища» (1940). Анализ текста Кренкеля позволяет заключить, что идея дрейфующей станции опирается не только на реальную полярную исследовательскую практику, но и на ряд художественных произведений. Основным претекстом, моделирующим условия экспедиции, для Э.Т. Кренкеля становятся романы Ж. Верна, в первую очередь «Путешествие и приключения капитана Гаттераса» и «Плавучий остров».

Ключевые слова: советская Арктика, дрейфующая станция «Северный полюс-1», Э.Т. Кренкель, дневник, литературный источник, Жюль Верн.

O.A. SKUBACH

Altai State University

LITERARY SOURCES OF THE PLOT ABOUT THE PAPANIN'S EXPEDITION IN THE SOVIET CULTURE OF THE LATE 1930s - EARLY 1940s. (ON THE MATERIAL OF E. KRENKEL'S DIARY "THE FOUR COMRADES")

The article deals with literary sources of one of the central plots of the Soviet campaign for the Arctic's development – the history of the North Pole-1 drifting station. The diary of the expedition's radio operator E.T. Krenkel 'Four Comrades' (1940) was the main material of the study in this article. An analysis of Krenkel's text allows us to conclude that the idea of a drifting station is based not only on real polar research practice, but also on a number of literary works. The novels by J. Verne, primarily "Journey and Adventures of Captain Hatteras" and "Floating Island" become the main pretext modeling the expedition conditions for E.T. Krenkel.

Keywords: Soviet Arctic, North Pole-1 drifting station, E.T. Krenkel, diary, literary source, Jules Verne.

¹ Ольга Александровна Скубач, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры общей и прикладной филологии, литературы и русского языка Алтайского государственного университета

Имперская культурная и политическая модель предполагает обязательную рефлексию по поводу пространства. Пространство в империи – важно; империя всегда чутко реагирует на динамику пространства, внешнего и внутреннего. В Советском Союзе имперская модель геополитики, постепенно укрепляясь со второй половины 1920-х гг., достигла своей кульминации к концу следующего десятилетия. В предвоенные годы в советской культуре был создан и осмыслен особый тип героизма – «герои пространства»¹. О том, насколько исключительную роль предназначает для них культура, свидетельствует простой факт: первыми Героями Советского Союза стали летчики, участвовавшие в спасении экипажа и пассажиров затонувшего «Челюскина». Новое, исключительное звание было введено специально для них; прежней наградной системы оказалось недостаточно, чтобы обеспечить им совершенно уникальное место в советском пантеоне героев.

Приключения «челюскинцев», стараниями советского агитпропа быстро превращенные в героическую эпопею, наглядно демонстрируют смену приоритетов в геополитике и геоидеологии советского государства. Колонизаторские усилия, направленные на периферию, в 1920-х гг. мотивировались, в первую очередь, соображениями практической пользы: молодая страна, вставшая на путь индустриального развития, остро нуждалась в ресурсах – металлах и источниках энергии, найденных в Сибири; в колымском золоте и якутских алмазах; наконец, в пушнине – этой универсальной российской валюте на протяжении нескольких столетий². Ради пушнины осваивались новые промысловые районы на северо-востоке СССР. В 1930-х гг. практические соображения явно отходят на второй план, и первостепенное значение приобретают символические аспекты покорения пространства. Плавание «Челюскина» вместо практической выгоды, которую обещало освоение Северного морского пути, принесло стране весьма ощутимые убытки. Это, однако, не помешало культуре сделать из очевиднейшего провала образцовую историю триумфа.

Еще более заметен символический аспект в другой знаковой пространственной эпопее 1930-х гг. – истории полярной дрейфующей станции «Северный полюс-1». Беспрецедентная информационная кампания, освещавшая все этапы экспедиции, исключительная наградная щедрость к ее участникам после завершения дрейфа, огромный мировой резонанс делают ее главным пространственным свершением докосмического периода советской эпохи. О том же

¹ См. об этом: [Добренко, 2000].

² Подробно об экономическом аспекте колонизации отдаленных районов дореволюционной России и ее культурных последствиях см.: [Эткинд, 2013].

свидетельствует и широчайший резонанс экспедиции в культуре. «Папанинский» дрейф породил фантастическую массу сопутствующего материала, как ортодоксально-панегирического, так и фольклорно-деконструирующего характера: специальная экспозиция в Музее Арктики, несколько документальных фильмов, газетные статьи и научно-популярные книги, отсылки в художественной литературе, песни, частушки, анекдоты. Все это в итоге сформировало «папанинский» миф – один из самых репрезентативных нарративов сталинской эпохи.

На вершине пирамиды материалов о «папанинцах» находятся, конечно, тексты самих «папанинцев». Дневники двух участников экспедиции – И.Д. Папанина и Э.Т. Кренкеля – были опубликованы в 1938 г. [Папанин, 1938] и в 1940 г. [Кренкель, 1940] соответственно и быстро приобрели статус культовых произведений советской географической прозы.

Первая проблема подобных текстов заключается в вопросе об их авторстве. Вполне понятно, что столь знаковые тексты не могли пойти в печать без соответствующей обработки, и отнюдь не только стилистической. Дневники участников экспедиции, несомненно, неоднократно правились и досконально выверялись. Интереснее, однако, другой аспект. Ясно, что документальная проза, связанная фактами, несвободна в плане тематически-содержательном, и авторство здесь, с определенным основанием, принадлежит тому, кто может влиять на реальность. «Папанинский» дрейф – замечательный сюжет советской культуры, но сами «папанинцы» – не более чем его герои, в лучшем случае – нарраторы. Подлинное же авторство этого сюжета принадлежит другим, настоящим актерам культуры: В.Ю. Визе, в 1930-х гг. занимавшему должность замдиректора Всесоюзного арктического института, который еще в 1929 г. сформулировал идею дрейфующей полярной станции; О.Ю. Шмидту, начальнику Главсевморпути (1932-1938) и официальному руководителю экспедиции «Северный полюс-1»; наконец, лично Сталину. Но и они, в свою очередь, тоже опираются на готовые сюжеты, появившиеся в пространстве культуры благодаря литературным источникам.

Начитанный Эрнст Кренкель демонстрирует в дневнике нешуточную эрудицию, цитируя художественные тексты и проводя литературные параллели. Само название его книги – «Четыре товарища» – вполне литературно и воскрешает в памяти читателя «Трех мушкетеров» А. Дюма, «Трех товарищей» Э.М. Ремарка, «Сердца трех» Дж. Лондона и многое другое. В актуальном круге его чтения – Горький и Вилли Бредель, П. Павленко и Гете, Анатолий Франс и А.Н. Толстой, Стендаль, О. Генри, А. Мандзони, О. Мирбо; Кренкель позволяет себе цитировать даже Экклезиаст. Эти цитаты,

однако, носят спорадический характер, а регулярно он ссылается только на двух авторов: Ф. Купера и Ж. Верна. К ним он возвращается в тексте дневника снова и снова.

Фенимор Купер, судя по всему, – искренняя любовь Кренкеля, его личный ориентир. Купер позволяет полярнику увидеть в устрашающих условиях зимовья на дрейфующей льдине детскую мечту о покорителях пространства, романическую сказку, а в себе и своих коллегах – «самых северных счастливых людей» [Кренкель, 1940, с. 146]. Имя Купера в восприятии Кренкеля – позитивный индекс. Советский радист в своих любительских радиоиссесиях явно предпочитает общаться с американскими собеседниками; комментируя одну из сессий, когда удалось установить связь одновременно с «добрым десятком штатов», он поясняет: «Страна Фенимора Купера и Джека Лондона». «И все же, жалеючи аккумуляторы, связь пришлось прервать», – с явным сожалением заключает он [Кренкель, 1940, с. 151]. Ф. Купер упоминается тем чаще, чем более опасными становятся обстоятельства дрейфа. 21 января 1938 г. папанинцы наблюдали в непосредственной близости от лагеря ледовое «сжатие колоссальной силы»; в этот момент, как пишет сдержанный Кренкель, стало «с нервами у всех одинаково» [Кренкель, 1940, с. 203]. Именно Купер, сращенный с детскими воспоминаниями, позволил, видимо, несколько смягчить страх: «Я вспомнил, как некогда в детстве, начитавшись романов Фенимора Купера, слушал топот приближающихся всадников, приложив ухо к земле. А чем у нас не прерии? Ложился на лед и прислушивался, не мчит ли за нами ледовая погоня» [Кренкель, 1940, с. 203]. Смысл этой сцены понятен: отыгрывание романтического литературного сюжета до известной степени спасает полярника от ужаса наступающей его реальности.

Совершенно другую функцию в дневнике Кренкеля выполняют отсылки к Ж. Верну. Первое, что обращает на себя внимание, – они появляются в тексте подчас совершенно немотивированно, вне связи с описываемыми событиями. Так, прерывая наполненный абсолютно бытовыми подробностями рассказ о сборах экспедиции на острове Рудольфа, автор внезапно восклицает: «Бедный, бедный Жюль Верн! Мы, советские люди, тревожим твой почтенный прах, и ты, возможно, переворачиваешься в гробу» [Кренкель, 1940, с. 25]. Возможно, столь неожиданно этот контекст актуализируется потому, что принадлежит не только Э. Кренкелю: он связан с читательским опытом автора, но, одновременно, и внеположен по отношению к нему.

Тень Жюль Верна легко угадывается за контурами советской экспедиции. Оба ее этапа – авиаперелет на полюс и дрейф на льдине – выстроены по модели соперничества с несколькими сюжетами главного технократа XIX века. Первый из этих сюжетов – ранний роман Ж. Верна «Путешествие и приключения капитана

Гаттераса» (1866), повествующий о походе экспансивного британца к Северному полюсу. Связь с этим романом обнаруживает сам Кренкель, в разгар дрейфа рассуждая о культурной судьбе места, в котором оказался: «Бедный полюс, как много ты вытерпел! По древним гравюрам, ты был заселен людьми с собачьими головами. Затем на тебе подвизался капитан Гаттерас, герой Жюль Верна. Сюда же была выброшена с итальянского дирижабля святая мадонна (как хорошо, что у мадонны не было радиостанции, иначе она опередила бы нас)» [Кренкель, 1940, с. 180]. Характерно, что роман Верна поставлен в ряд, с одной стороны, наивно-варварских представлений о полюсе, с другой, – соперников СССР по освоению Арктики (Кренкель упоминает экспедицию Р. Амудсена и У. Нобиле, в 1926 г. пролетевших над полюсом на дирижабле). Иронический в отношении фантаста тон поддерживается и использованной анафорой: «Бедный Жюль Верн», «бедный полюс». Ранее в тексте дневника, комментируя броский в своей лаконичности адрес на экспедиционных ящиках «Москва – Северный полюс», Кренкель – тоже иронично – отметил: «Совсем как в жюль-верновском романе» [Кренкель, 1940, с. 7]. Подтекст иронии понятен: если у французского автора прямой маршрут на Северный полюс был не более чем громкой фразой, то в советском исполнении он становится твердой реальностью. Однако Кренкель несправедлив: в романе Ж. Верна нет ничего похожего на вызывающую прямолинейность советского адреса. Напротив, в романе Верна конечная цель путешествия долгое время остается тайной и для читателя, и для героев. При всем при том, нарратив папанинцев, действительно, связан с текстом Жюль Верна.

«Приключения капитана Гаттераса» – это роман с классическим колониционным сюжетом, весьма характерным для французского фантаста. Колонизационная топика в обязательном порядке предполагает борьбу носителя цивилизационного начала с «иным» – стихией, которая включает в себя и враждебную природу, и враждебный этнос. Мотив столкновения с туземцами-дикарями, как правило, каннибалами¹, является общим местом в хрестоматийных романах Жюль Верна. «Приключения капитана Гаттераса» не стали исключением, однако, за неимением географически оправданных аборигенов в районе полюса, писатель заставил играть эту роль сверхразумных белых медведей, которые, действуя организованно и сообща, заставляют героев романа пережить серьезнейшую опасность быть съеденными заживо.

¹ Каннибализм в глазах носителя европейской культуры, несомненно, представляет собой абсолютизацию «другого», см. об этом, в частности: [Богданов, 2001].

Судя по всему, в сознании пионеров крайнего Севера (и не только советских) медведи заняли ту нишу колонизационного нарратива, которая обычно отводится культурно «киным» – туземцам. Не избежали этого и папанинцы, иначе трудно объяснить ту одержимость медведями, которую демонстрируют материалы экспедиции. По свидетельству оператора экспедиции Марка Трояновского, И.Д. Папанин клялся, что не вернется с полюса без шкуры медведя; Э. Кренкель, устанавливая связь с очередной полярной станцией, обязательно говорит о навигации – и о медведях, и это при том, что в высоких широтах близ полюса медведи практически отсутствуют. Вполне понятно, что тема людоедства в XX веке практически уже утратила актуальность, даже если речь идет о медведях, – слишком неравны силы цивилизации и природы. Поэтому, собственно, не медведи едят папанинцев, а папанинцы – медведей: перед самым концом дрейфа, когда льдина находилась уже на широте южной Гренландии, Папанин все-таки осуществил свою мечту и убил медведицу с двумя медвежатами. Разумеется, данный эпизод вполне прагматически мотивируется нуждой в свежем мясе. Однако такое объяснение не подходит для другой «медвежьей» сцены дневника, пожалуй, самой колоритной. Когда папанинцы перед началом экспедиции прибыли на о. Рудольфа, у входа в помещение базы их ожидал своего рода полярный перформанс: «У входа в жилой дом нас встретил огромный белый медведь, повязанный красным галстуком. Его убили всего лишь дня за два до этого и заморозили, поэтому мишка выглядит как живой. Северный “пионер” держит в лапах полотенце с хлебом-солью и большой жестяной ключ с надписью: “Ключ от полюса”» [Кренкель, 1940, с. 22]. При всей своей, на современный взгляд, жестокости, эта сцена лишь катализирует пафос излюбленной утопии колонизаторов: покоренные аборигены радостно приветствуют своих завоевателей. Действительно, живыми им быть при этом вовсе не обязательно.

Другой текст Жюль Верна, который упоминает Кренкель, – это «Таинственный остров» (1874). Р. Барт в известном эссе охарактеризовал этот «почти безупречный роман» как нарратив, «где человек-ребенок заново изобретает мир, заполняет, огораживает его и в завершение своего энциклопедического труда замыкается в характерно буржуазной позе собственника, который в домашних туфлях и с трубкой сидит у камелька, в то время как снаружи напрасно ярится буря, то есть стихия бесконечности» [Барт, 2008, с. 66]. Экстремальный быт полярников выглядит, конечно, жестокой пародией на соответствующее всем стандартам буржуазного рая убежище капитана Немо. В этом ключе Кренкель и использует аллюзию, описывая вынужденные приспособления участников экспедиции, которые, однако, не гарантируют защиты от «стихии бесконечности»: «Мы – на острове. В хозяйстве и “троллейбус”, и “метрополитен”, и аэродром. Почтище, чем на “таинственном острове”

Жюль Верна» [Кренкель, 1940, с. 206]. У французского писателя есть и более поздняя вариация на тему «Наутилуса» – идеального дома, который всегда можно взять с собой, – вариация, непосредственно послужившая сюжетной основой для проекта экспедиции папанинцев. В романе «Плавучий остров» (1895) четверо друзей-музыкантов против своей воли оказываются на искусственном острове-корабле. Этот рай для американских миллиардеров, желающих оградить себя от несовершенного мира, представляет собой чудо технической мысли и свободно плавает в тропических широтах Тихого океана, обеспечивая своим обитателям великолепный климат и постоянные развлечения в виде экскурсий на острова Полинезии и знакомств с обычаями местных туземцев.

Вполне разделяя жюль-верновский «жест присвоения» [Барт, 2008, с. 67] в отношении мира и пространства, используя, по сути, сюжетную конструкцию французского фантаста, идеологи советского полярного подвига, а вслед за ними и нарраторы-полярники, значимо смещают основные смыслы, эту конструкцию наполняющие. Материальная утопия жюль-верновских миллиардеров не уберегла «плавучий остров» от социальных конфликтов, в конце концов, его и погубивших. Социальная утопия, царящая на «папанинской» льдине, напротив, гарантирует спасение ее обитателей, даже когда льдина разрушена. Вынужденное пребывание героев Ж. Верна на «острове» заменяется на добровольный подвиг советских полярников, а мотив изоляции превращается в тему сверхкоммуникации. Папанинцы, благодаря радио, говорят со всем миром, а мир в это время говорит о папанинцах: английские газеты посвящают им передовицы [Кренкель, 1940, с. 222], а голландские – даже сообщают о погоде на полюсе [Кренкель, 1940, с. 75]. 7 ноября, в знаменательный день, члены экспедиции торопятся прослушать праздничную речь К.Е. Ворошилова; Ворошилов же говорит о героизме членов экспедиции [Кренкель, 1940, с. 154]. На рядовой и, в общем, праздный вопрос о благоустройстве столицы папанинцам отвечает лично главный инженер по реконструкции Москвы [Кренкель, 1940, с. 139]. Полярники заказывают джаз Утесова, и Утесов по радио не только исполняет концерт, но и лично приветствует Папанина [Кренкель, 1940, с. 164].

Наконец, самый главный в контексте советской ментальности пункт расхождений дневника Кренкеля с «Плавучим островом» Ж. Верна касается, конечно, локации путешествия – Северный полюс вместо невыразительных, в сравнении с ним, тропиков. Полюс – это особенный топос, пространство парадоксов. На Северном полюсе нет иных географических направлений, кроме направления на юг [Кренкель, 1940, с. 41]. Папанинцы, фактически, присвоили целую сторону света: «Север – это наш лагерь» [Кренкель, 1940, с. 45], – замечает радист. Летом ночь здесь солнечная, а зимой полярников радует «спокойный лунный день» [Кренкель, 1940, с. 158]. Здесь все

имеет иную ценность, нежели на материке: например, благодаря жесточайшему лимиту на вес доставленного груза «каждый гвоздь становится серебряным» [Кренкель, 1940, с. 33], а коньяк приходится перегонять в спирт [Кренкель, 1940, с. 76]. К географическим парадоксам добавляются социальные: у полярников нет даже паспортов («на полюс их везти незачем» [Кренкель, 1940, с. 10]), но при этом «где еще в СССР поселок, в котором все жители – депутаты?» [Кренкель, 1940, с. 176]. Иначе говоря, «в Арктике обычны самые невероятные вещи» [Кренкель, 1940, с. 176].

Северный полюс – это, конечно, ценностный ориентир: «... каждая профессия имеет свой полюс» [Кренкель, 1940, с. 181], – философствует автор дневника. Практическая значимость полюса ничтожна в той же степени, в какой огромна символическая. Научные цели экспедиции Папанина, конечно, терялись в сравнении с ее идеологическими задачами. Само слово «координаты» приобрело благодаря папанинцам откровенно идеологическое звучание: местоположение станции ежедневно сообщалось в «Последних известиях» по всесоюзному радио, даже если никаких иных новостей от полярников не было. Парадокс, недоступный имперскому сознанию, заключается в том, что полюс нельзя колонизировать, потому что колонизировать попросту нечего: Северный полюс – это просто точка на карте, географическая абстракция.

К тому же собственно на полюсе папанинцы пробыли совсем не долго. Стремительный дрейф относил льдину к югу, однако в восприятии современников они продолжали ассоциироваться с полюсом. Полярники острова Рудольфа, расположенного на северной оконечности архипелага Земля Франца-Иосифа, зимовщики норвежских и гренландских станций отправляли радиogramмы, адресованные «на Северный полюс», в то время как экспедиция почти сравнялась по широте с Мурманском.

Последний текст, который включается в литературный горизонт дневника Кренкеля – повесть Дж.К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» (1889). Сходство приключений папанинцев с путешествием трех приятелей из повести британского автора для стороннего наблюдателя очевидно не в меньшей степени, чем с сюжетами Жюль Верна. Однако ортодоксальная советская позиция, признавая связь папанинского сюжета со вторым из упомянутых авторов, решительно расподобляется с первым. «Смешные буржуазные недотепы» [Кренкель, 1940, с. 177], – характеризует персонажей британца и его читавший Кренкель. Эта точка зрения понятна, если встать на позиции сталинской культуры: Жюль Верн, при всей его, с советской точки зрения, буржуазной неполноценности, являлся выразителем классической колониальной эпохи Франции, в то время как Джером зафиксировал в своей повести распад имперской

культурной модели. Всепоглощающая ирония, с которой его герои реагируют на знаки имперского величия Британии, оборачивается иронией по отношению к самим себе, неспособным ответить на вызов великой британской истории как-то иначе. Классическая сталинская культура во второй половине 1930-х гг., избегая скомпromетированных терминов, тем не менее, однозначно отождествляла себя с империей. Заметим, тем не менее, что британские «недотепы», несмотря на свой саморазрушительный скепсис, предпочитали плыть вверх по реке, а советские покорители пространства, увлекаемые течением океана, беспомощно дрейфовали на льдине.

«Золотой век» советского освоения Арктики – 1920-1930-е гг. – вызвал к жизни заметное количество сюжетов, ставших знаками советской эпохи, во многом определивших ее облик. Варьируясь и преломляясь, эти сюжеты отразились во множестве географических очерков и эго-документов – дневников, путевых заметок, беллетризованных отчетов экспедиций и прочих текстов, которые, принадлежа к документальному корпусу, опирались, разумеется, на факты, позволяя читателю погрузиться в атмосферу реальных арктических свершений. Однако не только факты служили питательной средой для советского нарратива об Арктике: даже не слишком пристальный взгляд способен заметить в текстах географической документалистики 1920-1930-х гг. большое число аллюзий, реминисценций, заимствований из области беллетристики и художественной литературы. Марксистская логика предписывала литературе следовать за реальностью, на деле часто происходило иное: реальность – в ее первичной культурной обработке, которую обеспечивала документальная проза – стремилась совпасть со знакомыми контурами литературных мотивов.

Один из самых, пожалуй, репрезентативных советских полярных сюжетов – история дрейфующей станции «Северный полюс-1», вполне может стать примером такого парадокса. Тексты, написанные участниками экспедиции, до известной степени позволяют увидеть механику преломления литературных мотивов и сюжетов в реальном арктическом опыте. Авторы дневников – И.Д. Папанин и Э.Т. Кренкель – актуализируют в своих текстах разные литературные источники; если для Папанина главным сюжетом, моделирующим историю «жизни на льдине», является робинзонада¹, то для Кренкеля, несомненно, это романы Ж. Верна. Картина осложняется тем, что Кренкель, скорее, стремится дистанцироваться от возможных сравнений с мотивами произведений фантаста, однако тем самым лишь подчеркивает сходство; в итоге вся эпопея папанинцев выглядит как претворенный в реальность жюль-верновский сюжет.

¹ См. об этом подробнее: [Скубач, 2014].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Барт, Р. Мифологии / Р. Барт. – Москва: Академический проект, 2008. – 351 с.

Богданов, К. А. Каннибализм: История одного табу / К.А. Богданов // Богданов К.А. Повседневность и мифология: Исследования по семиотике фольклорной действительности. Санкт-Петербург: Искусство-СПБ, 2001. – С. 242–284.

Добренко, Е. Искусство социальной навигации (Очерки культурной топографии сталинской эпохи) / Е.А. Добренко // Wiener Slawistischer Almanach. 2000. Bd. 45. – С. 93–134.

Кренкель, Э. РАЕМ– мои позывные / Э.Т. Кренкель. – Москва: Советская Россия, 1973. – 436 с.

Кренкель, Э. Т. Четыре товарища: Дневник / Э.Т. Кренкель. – Москва-Ленинград: Изд-во Главсевморпути, 1940. – 242 с.

Папанин, И. Д. Жизнь на льдине. Дневник / И.Д. Папанин. – Москва: Издание редакции «Правда», 1938. – 221 с.

Скубач, О. А. «Жизнь на льдине» И.Д. Папанина: робинзонада по-советски / О.А. Скубач // Феномен пограничной зоны в литературе и культуре. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2014. – С. 130–138.

Эткинд, А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России / А. Эткинд. – Москва: Новое литературное обозрение, 2013. – 448 с.

REFERENCES:

Barth, R. Mifologii / R. Barth. – Moscow: Academic project, 2008. – 351 s.

Bogdanov, K. A. Kannibalizm: Istoriya odnogo tabu / K. A. Bogdanov // Bogdanov, K.A. Povsednevnost' i mifologiya: Issledovaniya po semiotike fol'klornoy deystvitel'nosti. – St. Petersburg: Art-SPB, 2001. – S. 242–284.

Dobrenko, E. Iskusstvo sotsial'noy navigatsii (Ocherki kul'turnoy topografii stalinskoy epokhi) / E. Dobrenko // Wiener Slawistischer Almanach. 2000. Bd. 45. – S. 93–134.

Etkind, A. Vnutrennyaya kolonizatsiya. Imperskiy opyt Rossii / A. Etkind. – Moscow: New literary review, 2013. – 448 s.

Krenkel', E. RAEM– moi pozvnyne / E. Krenkel'. – Moscow: Soviet Russia, 1973. – 436 s.

Krenkel', E. T. Chetyre tovarishcha: Dnevnik / E.T. Krenkel'. – Moscow-Leningrad: Glavsevmorput, 1940. – 242 s.

Papanin, I. D. Zhizn' na l'dine. Dnevnik / I.D. Papanin. – Moscow: “Pravda” Edit., 1938. – 221 s.

Skubach, O. A. «Zhizn' na l'dine» I.D. Papanina: robinzonada po-sovetski / O.A. Skubach // Fenomen pogranichnoy zony v literature i kul'ture. – Novosibirsk: NSPU publ., 2014. – S. 130-138.